Эвелина Шац

Путешествие в Таганрог, или В поисках героя*

Фрагмент № 31

Россия вернула Турции Азов, обязалась снести Таганрог и ряд других городов, только что построенных на черноморском побережье. Кажется, в 1739 году. Москву сожгут позже. Любопытно, как влияют на этнографию и культуру вообще подолгу воюющие страны. Разница взаимовлияний и взаимопроникновений в мирное и военное время.

Вот если бы во мне была щелка, куда можно было бы засунуть сразу Британскую энциклопедию.

Спросить у Коркия. Его интерес к наполеоновским войнам (Толстой ни при чем), возможно, открыл ему новые сценарии.

Мой Спутник пишет книгу о наполеоновских войнах. Вот это да! Не понимаю, как можно писать исторический труд с лицом юного Дориана Грея. И носить перстень. Наверное, даже не старинный. А вот у бабушки была старая открытка, юное девичье лицо, прячущееся за розу. Очень похожий глаз. Полный страсти. И непримиримости. При этом было в нем что-то беззащитное и фанатичное. Как у моего Спутника театранта. Таких бросают на амбразуру, на войны и революции, ими взрывают мир старые игроки, торгующие этим миром.

Глаз – черная дыра, которая притаилась в глубине и жадно посасывает внешний мир. Втянется, прилипнет, сольется со мной – и тогда после меня хоть потоп. Глаз заключает в себе достаточно пространства, чтобы вместить целый мир и мировые потопы. Может быть, это и есть суть барокко?

^{*} Окончание. Начало в кн. 59.

Мой Спутник потушил свой неуемный глаз и задремал, окруженный своей необычной глазастой проницательной планидой. Нет, он не виноват в том, что она так красива и по-своему бесхитростна. С такой планидой хитрить, мой друг, тебе не к лицу.

Фрагмент № 32

Мой *Герой* далек от барокко, от его природного динамизма живой и неживой природы, предчувствия грехопадения, головокружительного нарушения симметрии, явления всякий раз нового языка, за которым следует сотрясающая эмоция, рождение, свершающееся в погрешности. В то время как я – опыт живого барокко: грехопадение, погрешности авангарда, головокружения от присутствия.

Отсутствие – не просто нехватка, это предчувствие того присутствия, которого так никогда и не обретаешь въяве. Нет ничего реальнее воображения.

Но барокко! Многоязычность, многоголосие, полифония форм, подвижность идей, Данте против Петрарки antiliteram, риторика плоти и разума, карнавальная театральность, чувственный банкет, мир, заброшенный в будущее... Многообразие восприятия повышает уровень сознания – примерно так изъявлял Лейбниц. И все должно быть преувеличено! Короче, увеличительное стекло. Это барокко породило петровскую Россию, джентльмена, просвещение, вилки и салфетки, академию наук, Гулливера и Мюнхгаузена. Да, забыла фейерверк и постмодернизм.

Фрагмент № 33

Он писал письма и записки, которые походили скорее на бухгалтерские отчеты или технические инструкции. Я их бережно хранила, чуя некое таинственное проявление любви в тех докладных записках.

Сколько бы он ни писал таких отменных донесений, я собиралась любить его за них, пока не кончится моя вечность. Да-да. Звучит патетично, но, кажется, Уайльд говорил, что именно истинные чувства, как это ни парадоксально, всегда были причиной самой отвратительной поэзии.

Или наоборот.

В одном интимном письме, писанном приблизительно в то же время, как Я помню чудное мгновение, о гении чистой красоты Пушкин откровенно говорит: наша вавилонская блудница, Анна Петровна.

На юридическом языке это обозначается как сообщение *заве- домо неверных сведений*.

В строчках поэзии или в письме?

Впрочем, я вовсе не считаю отвратительными собственные стихи, навеянные истинными чувствами.

Фрагмент № 34

Его не касалось, что дома, столы, книги, бумаги, компьютеры, ключи, даже наши собственные тела, все эти руки, ноги, какие-то, прости Господи, животы и задницы, даже глаза – все это предметы нерушимой архаики, можно сказать, урочища будущих археологических раскопок и экспонаты для кунсткамер XXII века.

Пыль, любимая Бродским пыль, против вечных ценностей. Пыль – это плоть Времени, плоть и кровь. Череп и черви. Она ведь тоже предмет философии барокко. И постмодернизма тоже.

Он, как, впрочем, вообще русские люди, недемократичен, то есть не постмодернистичен (ведает ли кто толком, что такое демократия? или постмодернизм?), а значит, безответственен, хотя его постоянное брюзжание против всех несвобод пыталось преодолеть собственную осознаваемую степень непочтения к новому и его культуре. Может быть, к культуре вообще? Да, пытался, но все было ему неинтересным, кроме собственного самоутверждения. Как и его этноокружение, выбирал он его по принципу быть... первым парнем на деревне. Не мог он преодолеть трепет, даже какоето религиозное благоговение перед классичностью репрессивной культуры. Отдавал ли он отчет себе в этом? Пожалуй, нет. Ведь он не понимал, что эрос важнее сублимаций. И было бы ему понятно, что говорила когда-то пораженная шизоидной любовью Juana La Loca, Безумная Хуана, королева кастильская: Возможно, я могу забыть твое имя, но мне никогда не забыть объятий, в которых я стонала от наслаждений. Пожалуй, это чисто женское безумие.

Его непрестанное противостояние, граничащее с фанатизмом, заменяло или помогало избежать любви, с которой он справедливо боролся как с болезнью. Игорь Гарин вообще полагает, что фанатизм – свойство некоего типа сознания, свойство чуть ли не генетически-биологическое. Это разрыв каких-то связей в мозгу, не ощущение себя-в-мире, а параноидальное выведение мира-из-себя.

В Таганроге все проще. Кто-то сказал там: Если человек видел когда-нибудь один раз Индийский океан, он его уже никогда не забудет. У него будет что вспоминать в бессонные ночи.

Вот она, любовь! Индийский океа-ан.

Почему Индийский?

Водятся ли в нем русалки?

Почему не Таганрогский залив?

Хотя русалки и здесь, наверное, не водятся.

Фрагмент № 36

На Тверском бульваре, когда Пушкин стоял по ту сторону площади, на новогодье ставили вокруг него цветные ларьки и будочки, и дуб, вокруг которого по *златой* цепи ходил ученый кот. Шел снег. Мелькает в памяти порой до сих пор эта площадная заснеженная сказка.

Так вот моя тетя Джузепна, ее предок Массимилиано (Максимилиан, или просто Макс) Фантастичи Роселлини строил Таганрог, тетя последний потомок, умерла, оставив мне в наследство семейный дом, у нее никого не осталось. Да и дома тоже как будто и нет. Так, избушка на курьих ножках. Шатается и трещит поленьями. Ну, приеду удостоверюсь. Так вот, моя тетя, которая завещала мне дом в Таганроге, тогда рассказывала, что пушкинское сказочное Лукоморье это и есть Таганрогский залив. Здесь когда-то напротив дворца Александра I, где останавливались по дороге на Кавказ Пушкин с Раевским, и стояло дерево-легенда. Во времена поэта дереву было более 200 лет и находилось оно как раз у самого лукоморья, то бишь луком изогнутого морского побережья. Это было в 1820 году. А в 2002 дуб (или скорее шелковицу) спалили. Вандалы нынешнего века. Считайте, сколько ему

было лет, именитому долгожителю. Бесчестно почил, а останки спилили.

Осталось Лукоморье. Пока.

Из всех чеховских героев он (этот дуб-шелковица) – сад, если угодно.

Впрочем, искусственное не-умирание – такой же разрыв в цепи бытия, как и искусственное не-рождение.

Лишь искусство имеет право на бессмертие. До поры до времени.

То есть пока, как сказано выше.

Фрагмент № 38

О сад! О Сад! Хлебникова

Фрагмент № 39

Так вот, об искусстве. Не за наследством я еду в Таганрог, а воздвигнуть на месте Дерева памятник отказу от *тебя*. Он будет царить над чугунным садом *его* многолетних *нет*. Там и Пушкин, и Чехов, и итальянские архитекторы, и колокол, и кот ученый... Таганский колокол тоже не слабо!

Фрагмент № 40

Ницше говорил, что греки были легкомысленны из-за глубины своего мышления. Я легкомысленна или итальянка? Наверное, просто русская. Судя по таганрогским планам.

Фрагмент № 41

Мысль о путешествии соблазнительна переносом. Все необъятное зрелище мира проходит перед глазами памяти волной многоцветной скуки, воображение очнулось, находит желание больше не шевелиться, и только тоскливая усталость от мысленного бега неловким порывом сна...

Я что-то читала, засыпая.

Женской природе без жертвенности не обойтись. Вязкая такая жертвенность с немалым забыванием себя... Все вертится вокруг этой проклятой жертвенности. Женщины спасают, мужчины – спасаются. А венец у меня бракованный. Наизнанку. Свобода – это то, что у меня есть. Иногда не знаю, что мне делать с этой свободой по вечерам.

А Герой? Противоречие для него – не сбой, а система, воплощение жизненного единства: слышится мучительная гомосексуальная нота. Онанизм при этом остается онанизмом, даже если мозговые картинки приобретают трехмерную осязательность. Мы желаем быть желанными – и потому нуждаемся в Другом, столь же полно волящем и свободном, как и мы сами.

Свобода наша дошла до предела, сделав жизнь невыносимой: никто никого не понимает, мир распался, связи бессодержательны, человек заключен в видеоскорлупу одиночества. И мучительно желает избавиться от своей никчемности, от мучительной свободы быть никем, от необходимости просто жить, а не строить жизнь. Его тянет на войну. А пока – трудиться, трудиться! Трудоголики мечутся, как чеховские герои по сцене в поисках роли. Размахивают руками, что-то рассказывая направо и налево, как дети Швамбрании, одинокие свифтовские парии бродят по улицам, с кем-то страстно пререкаясь, или так кажется. Мобильных телефонов не видно за бурным действием рук. Свободные люди, лишние люди.

Фрагмент № 43

Меня разбудил бодрый молодой голос моего длинноногого Спутника, я потом узнала, что у него редкий драматический тенор и он поет оперную музыку.

- Так на чем мы остановились?

Кстати: эрос *важнее сублимации* – это ты мне на прошлой остановке говорила, что, мол, не ищи примитивного наслаждения. (Мы уже давно перешли на ты.)

Напомни, *плиз*, первоисточник цитаты – *завернуть огонь в бу*магу (с контекстом).

- Да кто его знает? Разве я все помню? А почему ты думаешь, что это цитата? Написано курсивом? Читай дальше. Это немного. Все, что успела, пока ты спал.
 - И вот еще, по поводу этого длинного театрала.

Образ, на мой взгляд, недостаточно реалистичен, таких не бывает. Редактор не пропустит. Где вы видели таких историков, сударыня? Почему вы выбрали именно наполеоновскую тему лучше бы, к примеру, эпоху революции (французской, в крайнем случае английской), но не империи – вы же сами описали взгляд – он не из стиля ампира. И почему этот тип с лицом Дориана занимается историей - мне думается, что это поэтическая метафора если бы с таким лицом заниматься историей моды или ирландской поэзии, то это было бы банально, если бы историей занимался персонаж с лицом небритого пролетария - это была бы проза, а вот такой вариант - поэзия: ибо я считаю главным качеством поэзии - сопряжение несопрягаемого (бывают странные сближения). Таких со взглядом, говоришь, бросают на амбразуры старые подонки (кстати, не будем уточнять их национальность - тут ты сама себя в угол загоняешь), то ты не видела «Немецкой саги» как я вывел образ Круппа (пардон, наст. фам. – Боллен) – вот кто загоняет художника со взором горящим (Гитлера) на его амбразуры. Тут скорее иное – поэт сам себя бросает на амбразуры (даже меланхолично сидя на диване), а ученый - на познание и спор. Да, кстати, а почему конкретно наполеоновская тема волнует Дориана (додумай, не спрашивай у коркиев - они нифига ни в чем не смыслят – вообще), впрочем, ты права: а что его должно волновать, Наполеон достойнее местечковых склок в престарелом театре.

– Ты очень суров, мой друг! Хотя так часто прав, что мне неловко за этот средний мир. Вот только неясно, как понимать – вот кто загоняет художника со взором горящим (Гитлера) на его амбразуры.

Кстати, на Эльбе у Наполеона был двадцатилетний секретарь. Во всяком случае, в фильме Вирци Я и Наполеон ему – двадцать. Il fascino persuasivo del tirano. Убедительное очарование тирана. Аквабона или Мартино в фильме все собирался убить Наполеона, но отвлекался на гениальные фрагменты, которые записывал за Императором. Потом Наполеон сбежал с острова, увел прекрасную баронессу, возлюбленную секретаря, и утопил в крови

еще сто тысяч жителей Европы. Всего за сто гениальных военных дней. Секретарь женился на прислуге и работал до конца дней своих у себя в лавке. Антиимперский средний класс. Вот и конец.

- Дай посмотреть в окно.

Фрагмент № 44

Не закрывай мне солнца, Диоген, пропела я.

- Ты всегда поешь, поэтесса?
- Не поэтесса, а поэт. Обычно пишу для голоса, и текст себе напеваю. И он выстраивается в музыке. Я и писать-то по-русски стала, ибо петь очень хотелось, горизонтально. И часто от какого-то неумения пробиться к ритмам без рифмы у меня идут всякие такие голосовые заусеницы. Но когда я пытаюсь их в дальнейшем сгладить, часто возвращаюсь к неудобно-поющемуся первобытному варианту. Вот так Вера, друг любимый, пишет о моих архаизмах. А как это совмещается с барокко, которое свило себе гнездо у меня в черепе и высиживает мраморные яйца, не знаю. А ты знаешь?
- Барокко всегда было точным выражением творческого темперамента, художественного костюма и жизни. И принципа преувеличения во всем.

Фрагмент № 45

- Вот ты говоришь: Поэт сам себя бросает на амбразуры (даже меланхолично сидя на диване). Очень точно говоришь. А мне все вспоминается эссе Соловьева о судьбе Пушкина. Кажется, Пушкин его раздражал. Он как-то очень желчно и очень умно пытается рассказать о противности Пушкина, о том, как ему обязательно было убить. Да-да, убить. И слово свое нарушил, государю, что не будет больше драться. И уже раненный, опять стрелял. И... в общем, бросился на амбразуру.
- Ход и исход нашей жизни зависит от чего-то, кроме нас самих, от какой-то метафизической необходимости но должны ли мы подчиниться этой необходимости? Так ли тесны пределы власти самого человека? Не зависит ли это от градуса его ощущения собственной свободы, но и собственной ответственности?

Линия судьбы не колеблется ли от давления изнутри: противостояния или соучастия?

– Вдохновенный поэт и ничтожный бабник. Не судьба, а страсть и чувство мести, даже не любовь, а напряжение личного дискомфорта – вот начатки истории. Он сознательно довел свою гневную вражду до конца, до смертельного исхода в любой конец. 21 раз он бросал вызов разным господам! Геккерн-Дантес был просто обязан выйти на подмостки пушкинской трагедии. Что ж, он защитил свою биологическую жизнь. Нормальный человек.

Фрагмент № 46

«Если бы Пушкин исполнил данное им слово, Россия не потеряла бы своей лучшей славы, и великодушному государю не пришлось бы оплакивать вместе с гибелью поэта и свое рыцарское доверие к человеку», – так видит противостояние царя и поэта Соловьев в статье «Памяти императора Николая I». Ему есть за что помянуть вечною памятью императора Николая I!. Хотя и происходит это в полном противоречии со своим временем и со временами грядущими. «Не перед одною же внешнею силой преклонился гений Пушкина и не одна грандиозность привязала к государю сердце поэта!..»

Фрагмент № 47

Историкам есть над чем трудиться. Вот Государей нет, чтоб ценить и платить.

Кики (моя усестренная подруга, или приемная сестра) тут же бы вставила, что я монархист. Она права. В позапрошлом веке – я монархист. А в прошлом – авангардист.

А вот в этом - еще не знаю.

Фрагмент № 48

- Вернемся в Таганрог. Ты историк, мой друг. Почему турки называли эту землю *Таганьим рогом?*
- *Приметный мыс* это означает. Петр приметил и заказал город. Да и сам участвовал в его планировании.

Сначала крепость имела форму пятиугольника. Впрочем, Петр годами раньше подарил небольшой *пентагон* Меншикову, потешную крепость Чаплыгин-Ранненбург, прославивший скорее Меншикова.

Представляешь, первый в мире порт, построенный не в естественной бухте, а в открытом море. Как перелетные птицы потянулись на Русь строители с разных концов земли на огромную таганрогскую акваторию.

- Дерзость всегда вызывает восхищение, когда это не пустопорожняя зависть.
- Одно время Петр предполагал даже перенести сюда столицу. Но венцом всего был созданный в двух километрах от берега искусственный остров Черепашка.
 - Не венценосное имя!
 - Всего 59×38 м. Там долго догорал маяк.
- Не этот ли *остров Таганрог* имел в виду Коркия? Его герои пускают мыльные пузыри, беседуют о Чехове и обсуждают устройство острова Таганрог. Как мы с тобой сейчас.
- Коркий коркием и остров островом, а в 1712 г. после заключения с турками невыгодного для России договора русские войска разрушили город и крепость до фундамента, и шесть десятилетий этой спящей красавице снилась портовая жизнь.
- По городу в столетие рушат. Есть ли что-нибудь про это в Досках судьбы Хлебникова? Как же любят на Руси что-то разрушать! Особенно столицы. Даже чужие. Что было бы, если бы французы разрушили или сожгли Париж, чтоб не оставить его немцам? Или чтоб не нервировать их своей парижской судьбоносностью...
- Но ведь Екатерина восстановила город, он оставался главной военно-морской базой на Юге России вплоть до присоединения Крыма. Да и Москву отстроили после пожара.
- Таинственно отношение русских к человеческой географии. И остров Черепашку хотят вернуть в жизнь, и форт, и маяк... И паюсную икру. Но Дон Кихота с острова Таганрог не читали. А еще фестиваль, и театр... Надо будет в библиотеке посмотреть.

– О себе, – разошелся Длинноногий: – ровно все то же самое: молодой и талантливый, но для интима все уроды или бляди, а для творческой реализации – все места заняли либо твои любимые маргиналы, либо твои любимые беглецы с кладбища. Всех не переждешь. Но надо стараться и в этой ситуации двигаться, что я и пытаюсь делать. Нет, ясно, что я всем некрологи напишу и что, когда займу положенные мне места, бляди будут моими. Но хочется ведь все вовремя и чисто, но законы вашей жизни иные. Я же в книге уже все описал (а как это может измениться??), а до меня Данте с Сашей Черным (такое сравнение вполне в духе современного искусства и несовременного Любимова)... Не пойми идеологически.

Intermezzo I

Катаев писал: «Не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не воспоминания, не мемуары, не лирический дневник... Но что же? Не знаю».

Спрошу у Коркия.

Немедленно посылаю первые 25 фрагментов

Дорогой Коркия, ты пишешь: я решился нарушить и то правило, которое гласит: не публикуй незавершенных фрагментов.

Немедленно получаю ответ.

Дорогая Эвелина!

Я прочитал этот сумасшедший текст, этот поток сознания, а точнее – познания. Или – самопознания. В нем удивительно, прежде всего, то, что каждое слово ни к чему вроде бы не обязывает, а все вместе они складываются в некое обязательство. В обязанность. В обязанность быть. «Оптимизм как форма сопротивления». Но чему? Жизни? Она не сопротивляется смерти, а только бежит от нее. «Обломки крушения невысказанного». Мне кажется, тебе действительно удалось «завернуть огонь в бумагу». С этим можно поздравить. А можно – посочувствовать.

Потому что теперь этот огонь сожжет все. В первую очередь, бумагу, в которую ты его поместила. Это не «бумажный» текст – по смыслу, по духу – по определению.

И отныне он будет существовать сам по себе – как живое существо. Которое стремится «довести себя до совершенства трупа». В общем, я тебе сочувствую. Я тоже «не желаю сдаваться превращению биографии в сюжет». Хотя не уверен, что это возможно в принципе. Моя смерть превращает мою биографию в сюжет вне зависимости от моей воли. А пока я не умер – нет и сюжета. И не о чем говорить.

Хотелось бы, перефразируя Гегеля, сказать: тем хуже для сюжета. Но я промолчу.

Ужас в том, что история действительно «требует трагической развязки».

И то, что «никому ни до кого нет дела», – она и есть. Трагическая развязка.

Небытие собственной персоной. Развоплощенное и неосязаемое. Даже не призрак, с которым можно перемолвиться и пошептаться. А Нечто, которое и есть Ничто.

Оно и внутри, и вне, и тысячу лет назад, и сегодня, и тогда, когда наши тени будут бродить среди тех, кто еще не родился. Но они родятся – никуда не денутся! Родятся и будут жить. Как мы, как все, кто до нас. У меня физическое отвращение к действительности (в этом смысле Гегелю до меня далеко!), но...

Мы – острова, окруженные всемирным потопом времени. «В какое ужасное время мы живем! – В какое, милейший принц? – В наше, друг мой, в наше!» Я во всех своих сочинениях на все лады повторяю эту страшную для меня мысль. Потому что мучительно ищу выход. Ищу – и не нахожу. «Не знаю – вот блистательный ответ. Ответственность снимается мгновенно...» (Это из моей давней поэмы «Считанные дни».) Я не иронизирую – я действительно не знаю. Вечные ценности останутся вечными, но они перестают быть ценностями. Не исключено, что уже перестали. Я пишу роман о человеке, который умер и не заметил собственной смерти. Меня нет, но я есть. Не вещь в себе, а человек в себе. Человек в футляре. Который думает, что поднял бунт. Но он не бунтовщик, он – затворник. И для него выйти из футляра – как выйти из себя. Ты меня понимаешь? Вот и прекрасно! А то, что «коркии ни фига не понимают», – не трагедия. Не в коркиях дело, а в нас.

В нас, которые, как Санчо, в глубине души надеются на понимание.

Я не надеюсь на понимание. Я надеюсь на сочувствие. Помнишь, у Тютчева: «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Иного «парадиза» я не знаю. Бог может влиять на будущее, а в прошлом Бога нет. Нет, впрочем, и прошлого: память – единственная реальность. И то – «до поры до времени» – пока не впал в беспамятство. Вот чего я боюсь. От чего бегу как от огня. Спасибо, что хоть ты заворачиваешь его в бумагу. За что я тебя и обожаю.

С любовью и сочувствием - твой Виктор К.

Фрагмент № 50

А на фронте великой войны не жалея лили кровь свою – и с ненавистью чужую. Черное море пенится четырехтысячной бездонной историей рыб и людей.

Каждый эвакуируемый одессит мечтал попасть на комфортабельный теплоход *Ленин*. Страх гнал толпу на судно, а потом давил ее на палубе, в трюмах. Унижал у недосягаемой двери гальюна. Уходил в море красавец *Ленин*.

Позади страшный берег. Черная ночь. Длинная дамба Хаджибейского лимана отражала огромную массу воды: уязвимое место Одессы. Затопление Пересыпи могло помешать румынам войти в город сразу. А вода из лимана не даст чужим восстановить заводы.

Вал воды и грязи обрушился на стены домов. Вспыхнули школы. К утру сгорели практически все. В порту пожары. Взорвана электростанция, все хлебозаводы. Водопроводные краны молчат. Одессе быть! вещают листовки.

Вошли румыны, тут же согнали жителей рыть сточные канавы, которые сотни людей долбили ломами в непробивной земле. Через два месяца в городе появился электрический свет...

Русские войска уходили из Одессы так, словно в городе не оставалось ни единой живой души.

Фрагмент № 51

- А какой он сегодня?
- Чем-то напоминает все южнорусские порты.

Вот и Таганрог, с моря уходит в степь. В неохватную, цветную по весне, пахучую южную степь. Впереди море, сзади степь. Морестепь. Дышат пряным дыханием. Соль, полынь. Терпкая равнинность. А ты стоишь как столпник или обелиск, или памятник Хлебникову... Горизонталь.

- Ладно, не надо петь. Я сам тебе могу пропеть из книжки, которую взял в дорогу. Ты про холмы упустила. «Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими спокойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо».
- Это Паустовский открыл точку нахождения этого чеховского пейзажа.
- Вот-вот. Дальше: «Я читал эту запись, и что-то знакомое мучило меня. Я искал хотя бы какого-нибудь названия, имени, чтобы узнать этот город. Я уже догадывался в глубине души, о каком городе идет речь...» Именно в записи, а в рассказах нет ни моря, ни порта, ни акации, ни черных парусов... А у Паустовского: «В 1916 году я поселился в Таганроге в гостинице Кумбарули большой, пустой и прохладной. Она была построена еще в те баснословные времена, когда Таганрог был богатейшим городом на Азовском море столицей греческих и итальянских негоциантов. Тогда в Таганроге блистала итальянская опера, в нем жили Гарибальди и поэт Щербина, влюбленный в Элладу, в нем жил и умер плешивый щеголь Александр Первый, окруженный изысканной свитой».
 - Давай я про Гарибальди, а ты про царя.

Фрагмент № 52

Но название гостиницы *Кумбарули* увело меня в другой мир. Память изощряется, сотни всевозможных, но порой беспомощных фрагментов путаются в голове и уничтожают друг друга. Где-то должна существовать в этом подлунном мире гостиница *Кумбарули*.

Название ее напоминало таинственное питье *Крамбамбули* из старой песни, которая так и называлась. В детстве я не знала, куда падает ударение.

За милых женщин, черт возьми, Стаканом пить крамбамбули.

Ударение, пожалуй, на последний слог.

И напевая *Ай-лю-ли,* Мы будем пить крамбамбули.

Фрагмент № 53

Читаю книжку Тибе, взяла в дорогу. Маму его звали, как мою, Helen. Он подобно рассказывает в своих поэтических детективах о скитальческой жизни по гостиницам мира, о случайных, потому необычных встречах в гранд-отелях Европы. Все истории происходят в мире современного искусства, антиквариата, аукционов, молодых женщин из песен Вертинского. Все изысканно, прекрасно и почему-то страшно. И есть почему. Случай – главное действующее лицо. Откуда эта готовность спать в чужой постели? Закрыть на ключ дверь и провалиться в мир, который принадлежит уймищу. Бытие определяет сознание человека толпы. Проникнуться этим сознанием. Побыть в толпе? Побыть в бытии? Утопить одиночество в этой множественной постели? Или проникнуться покоем анонимного имперсонального интерьера. Пауза в погоне одного твоего Я за другим.

От усталости – сложные фабулы, затейливые интриги – Тибе переходил к инструментам, пел и писал музыку. Я от текстов перехожу к предметному искусству, как плесенью покрывая предметы своими буквенными арабесками. Все уже написано. Голова отдыхает. Я извожу себя усилием рук, ведь не перо, а тюбики мой инструмент, я их выдавливаю двумя руками. Сцепившись, они превращаются в русалочий хвост. Им пишу. Ожесточенно. Неутомимо. Что-то восточное есть в этой напряженной каллиграфии. В объемных чувственных строчках – своеобразная эротика. И мусор, которым я пользуюсь как исходным материалом, приобретает дворцовое роскошество.

Наши книги выходят с дисками. Или с картинками. Какие еще совпадения? Нам это предстоит открыть.

Тибе спрашивал:

– Некоторые совпадения – это приметы или чудеса? Ты уже ответила. Это – совпадения в охвате классичности, что в какой-то степени и суть чудеса.

Я прочел все посланное тобой и снова был глубоко потрясен. Каждый раз я нахожу что-то исходящее из моей памяти.

Это он будто вселился в мою память. Как прививают отростки к растению. Может быть, это ему была посвящена поэма *Отель Лондонская*. Я обращалась неизвестно к кому: Где ты? И вообще, существуешь ли на этом свете? И помнишь ли?..

Тебя я потеряла на дорогах мира.

А помнишь ли Одессу?

Номера Лондонской таинственные?

Задняя часть театра – это позади жизни, как задняя часть глаза. Как перевернутое изображение, опрокинутый мир, и все мои эмоции перепутаны, одна принята за другую, – пишет Тибе в рассказе 55.

И я во фрагменте, кажется, предыдущем или еще раньше, пишу что-то похожее: сотни всевозможных, порой беспомощных фрагментов путаются в голове и уничтожают друг друга.

Не то же ли это понятие: каждая моя эмоция перепутана и принята за другую?

Фрагмент № 55

В гостинице *Кумбарули* коричневые комнаты. Облупленные стены, остатки росписей. Вы помните *Соловейчика и Зину*? Комнаты растекались воском. Как часы у Дали. Желтым светились вечерние окна. Там в глубине надрывались человеческие комедии. Тогда умели еще любить. Тогда женщину могли зарезать от вожделения. Правда, и сейчас могут. И даже без. Но любить – не-е-т. Та-ак не могут.

И гостиницы все стали на одно лицо. Разница только в звездочках.

А тогда небо над Таганрогом было как в Греции. Тяжелые, кипенью набухшие звезды висели гроздьями и сыпались в море, как алмазная добыча из непроглядной шахты. Сколько же света теряют они, щедро отражаясь в водах мироздания и в каждом людском зрачке? Или наоборот. Может быть, в этом промотанном свете и следует искать альтернативную энергию?

В это небо, пенящееся крупными звездами, беременными этим белым кипенным светом, кутался пустынный порт и черная вода.

И гигантский пароход в желтом свете, будто отражение Кумбарули, Rex Амаркорда, медленно вступал в гавань как сон из детства, который снится нам на плоском берегу. Он надвигается громадой или медленно проваливается в море. Как подорванный Ленин в Одессе, вспухнувший днищем над черной водой, над черной войной. Он снился мне долго-долго. Мать и ребенок на верхней палубе детского рисунка погружались в воду. Вода подкатывала к горлу. Я просыпалась.

Фрагмент № 56

secolo ventesimo precipitato sulle lame in verticale

двадцатый век грохнулся на вертикали лезвий

Это твое хокку походит на рассказ Кафки «В поселении осужденных», где машина, напоминающая орган с вертикальными трубами, была предназначена для экзекуций через пытки, писал мне позже мой друг.

Фрагмент № 57

Позади страшный берег. Впереди страшный горизонт. Достать посадочные талоны на теплоход Ленин не удалось. Пароходишко, кажется Ворошилов, болтается в торпедной люльке менее гордо, чем Ленин. На палубе – штабеля людей. Шагаю по ним, крошечный комок жутчайшего ужаса. Спускают ялик. Женщина и ребенок сходят в него. Это не сон. Это кому-то

удалось невозможное: попасть на огромный Ленин. Елат это слово из уголовного жаргона на идиш, где-то начала века, пришло в 20-е годы с возникновением торгсинов в русский язык, оставаясь при этом принадлежностью черного рынка. Да, этот ялик по высокому политблату попал в черную полосу моря. Через несколько часов подорванный теплоход исчезнет в море, и с ним более двух тысяч человек. И это судьба, так как 27 июля 1941 он наскочил на советскую мину. Даже не успели спустить шлюпки. Может быть, и это было задумано, чтоб никому не досталось золото Одесского банка, который вез слишком тяжелый Ленин, слишком медленно. А золото до сих пор на дне. И все охотники за потопленными сокровищами видят его во сне. Как я – мать с ребенком на самой крыше исчезающего в одном из интереснейших морей теплохода. Они стоят на рисованном детской рукой кораблике.

...И я в ужасе просыпаюсь.

Фрагмент № 58

- Иван Грозный утопил 60 тысяч новгородцев. И этому городу Господину Свободному Новгороду быть!
- Уже в 1231 году, решив отомстить строптивым новгородцам, отец Александра Невского Ярослав устроил в городе пожар, после которого летописец сказал: «Новгород уже кончился». Однако помогли немецкие купцы, доставившие в город гуманитарную помощь хлеб, «думая больше о человеколюбии, нежели о корысти» (Николай Карамзин).

Фрагмент № 59

А трагедия питерской осады. Вы говорите героизм? ...И я в ужасе просыпаюсь.

Фрагмент № 60

Дети Марата, все они играли на истерии, как на барабане. Кто это сказал? Кажется я.

Моя школа.

Все необычно – начиная со школьного музея, где стояла парта Чехова.

Была в ее истории совсем трагическая страница. Управление гестапо. Бывшие гимназические карцеры стали застенками. Туда свозили схваченных подпольщиков. Их организацию возглавлял учитель нашей школы. Она была раскрыта, и почти всех ее участников казнили в «душегубках». Немцы называли их «газенваген» – герметичный автомобильный фургон, в который выведена выхлопная труба. Именно в Таганроге были впервые опробованы эти газовые камеры на колесах. В фургон набивали приговоренных к казни, и пока их везли в Петрушину балку – глубокий овраг за городом, – выхлопные газы делали свое дело...

Балка смерти называется это место.

...И я в ужасе просыпаюсь.

Фрагмент № 62

Но нет. Мне снится Helen. Моя или Тибе? Она тонка и бледна. Без возраста. Лучится белым светом. На ней белое шемизье. Кажется, от Шанель. Но это невозможно в старом домике, гдемы росли. Наверное, это платье Helen Тибе.

Вот уже двадцать лет как я потеряла маму в моих снах. Она, казалось, забросила меня. И удалилась в недосягаемое последнее далеко. Я чувствовала себя виноватой. Может быть, это я удалилась, приближаясь? Может быть, она пришла напомнить о себе. Позвать.

Иду к компьютеру на кухонном столе и говорю.

- Давай я тебя научу, это такая тренировка для головы! Она тепло и удивленно смотрит на меня и тихо светится.
- Мама, я тоже стану, как ты? Легкая и пристойная? Но мне же столько лет, что и Helen!

Я никогда не ощущала чувства молодости. Не успела. Но зато чувство юности меня не покидало никогда. Даже в моменты греческих трагедий.

В моменты греческих трагедий, когда воздух становился густым, а порой просто плотным, я тихонько постанывала мама, мама, мама...

Фрагмент № 64

В раннем детстве боль была бесцветной. Как смерть. В отрочестве она принимала цвет бурый: гроза необъяснимость беспричинность. Казалось. И уже тогда острая боль в солнечном сплетении. Страх. Черно-бурая строчка бугристой чреды писала я в Танке сорок лет спустя.

В молодости она стала густо-черной. Черное яйцо боли. Зубастых птиц зла. Птиц-человеков. Вот опять возникли много позже такие строчки.

я – птица, в клюве несу черное ласточкино яйцо и страшно, и не должно и может быть и невозможно его разбить

Дальше черный становился глубоким бархатным беспросветным. Приобретая смертельную лиловость. Всполохи желтого – виски, и белого – снотворное. Лиловость – газа.

Фрагмент № 65

А тогда это было необъяснимое время. С болью было невозможно бороться. Она брала вверх. Рукопашная схватка *быть* с не быть. И получается, что самоубийство – едва ли не закономерность при этом жестко заданном раскладе цвета. Выходить из небытия было так страшно, что со временем я выбрала – быть! Тем более что начинало маячить на горизонте натуральное небытие.

В годы зрелости боль заострилась, засветилась, рассверкалась, будто мир сыпался острозвонкими осколками. Ты стоял под

их истребительным дождем, истекая мелкими струйками крови. Ни виски тебе, ни таблеток. От запаха газа давно тошнит. Что делать? Нет ответа. Нет больше выбора. Ожидание естественного исхода. Но когда? Красным заревом под занавес застилается кругозор. Боль неожиданно становится красным сплющенным сердцем, красной язвой в желудке. Трудно дышать. Воздух тверд как стекло. И вот вдруг, или это происходило постепенно? все обесцвечивается. Открещивание от цвета. Боль как в детстве становится бесцветной. С ней можно жить. Она поддается лечению. Как хорошо, что ты не успел умереть раньше. Ты бы ничего не узнал об авантюре цвета. И не утешился бы юмором, именно таким юмором, какой свойственен депрессивным людям... Черный юмор становится светлым, прозрачным. Так он растворяет боль.

Дальше по жизни боль становилась все менее ожесточенной, так, назойливое покалывание где-то внутри, будто ножик-сверчок перочинный барахтается в районе сердца. Но с нею стало проще справляться: лекарство, рывок воли и... за работу!

Фрагмент № 66

Ибо никто не может думать о себе без другого, ни сегодня, ни вчера, ни завтра. И так всю жизнь...

Фрагмент № 67

Сначала я не искала себя. Я себя изобретала. И лишь потом опускалась на глубину породы познания изобретенной мною жизни. Сейчас я ничего не изобретаю. Вот если только эти фрагменты. И все еще, кажется, живу.

Есть поэты, чья биография во многом определила основные мотивы их творчества. У других же события их жизни имеют минимальное значение по отношению к создаваемым ими творениям. Я, безусловно, отношусь к первым. И ко вторым тоже.

Наверное, мне не обязательно стать классиком, ведь это значит, что стихи немного перестают быть частью живой жизни. Наверное, мне просто хочется писать стихи. Каждый день или каждую ночь...

Таганрог приплыл с Эгейских островов на бал Греции и Италии, устроенный в запорожских степях, где неожиданно пахнет солью. Россия исчезала в этой тишине, запахи которой тянулись в Средиземноморье и там сгущались. Особенно в Сицилии. Поэтому в свое время мне не сложно было проникнуться Италией и жить там так долго. Много лет я писала по-итальянски. Иностранный язык мне помогал выплескивать из себя застрявший в горле комок ужаса. Было трудно рассказывать на родном языке этот ужас. Ужас моей непринадлежности. Ужас сиротства. Этого не позволяло чувство вкуса. Да и язык был скован двумя десятилетиями. Таким образом, я избавлялась от ужаса, пользуясь иностранным языком и сохраняя некое нетронутое домашнее ядро. По которому могла свободно скучать в одиночестве, давая волю ностальгическому мазохизму. Ведь всем известно, что произнести ругательное слово, бесстыдно рассказать боль или говорить о любви с мужчиной в постели легче на другом языке. А кроме того, пройдя через трудности незнакомой речи, язык из хныкающего или отцензуренного родного становится тоньше и суше, в чем-то более изысканным и строгим. Более точным.

Хотя после столь долгого молчания переход на родной язык становится похожим на переход предыдущий. Родной становится другим, и процесс повторяется. Или оба языка становятся одинаково родными-чужими. Конечно, все это не просто. Вот Вера К. пишет мне о правке ее очередного текста: Ты чудовищным образом исказила мой текст, сделав его безграмотным и непрофессиональным. Она вот не стесняется своего языка. Молодец. Она ведь русская. А я – вечная странница. Чужая. Так что, повторяю, это не просто.

Хотя чувствовать себя авантюристом не слабо.

Фрагмент № 69

Например, не каждый знает, что самыми переводимыми языками мира признаны английский, французский, немецкий, русский, итальянский, испанский, шведский, латынь, датский и голландский. А в десятку наиболее переводимых авторов во-

шли сценаристы студии Уолта Диснея, Агата Кристи, Жюль Верн, Владимир Ленин, Вильям Шекспир, Ганс Христиан Андерсен и Стивен Кинг.

Конечно же, Данте не только переводить, а просто понимать без комментариев или театральных выкручиваний Бенинье просто невозможно. Почти. С Лениным проще.

Что уж говорить обо мне, если я сама себе и автор, и переводчик, и редактор вариаций. Думаете, печатают вдвойне?

Так не думайте!

Может быть, и комментарии написать?

Фрагмент № 70

Все совсем иначе, когда замечательная актриса Лена Шкурпелло читает мои стихи, все становится просто даже прозрачно. Как у Лорки. И я уже не я. То есть даже я начинаю их понимать.

А какой спектакль мы сотворили на первые 25 фрагментов *Та-ганрога*. Те самые, что я посылала Коркиа.

Фрагмент № 71

Слушаю радио в купе.

Поэты ходят пятками по лезвию ножа – И режут в кровь свои босые души!

Как точно, впрочем, как всегда у Высоцкого.

Фрагмент № 72

Я вот тут говорила, что быть авантюристом не слабо. А что это значит толком?

Что значит толком, не знаю. Но вот, что жизнь авантюриста история весьма не слабая, это точно. Сноска: спросить у Веры К.

А еще – подумайте сами.

Авантюристы-утописты, авантюрист-авангардист, ваганты труверы и трубадуры, скитальцы странники бродяги, номад и путник, пилигрим, паломник путешественник и Вечный жид, ну, и конечно, Летучий и загадочный голландец.

В Таганроге меня никто не знает. Проживу там день-другой, а там видно будет... Есть города, похожие на сон...

Фрагмент № 74

Длинноногий напротив насмешливо продекламировал:

– Америка это страна, где люди все время улыбаются. Потому что никогда не видели Таганрог.

Фрагмент № 75

С Таганрогом связано многое. Море – впервые. И будущее почти что боцмана. Спросите у моего Героя. Или почитайте мои боцманские баллады.

Город, как корабль, плывет по мелкому лиманному Азовскому морю. Будто он в Вендикари в Сицилии. Но города там, в Вендикари, нет. Только перелетные птицы. А лиманы вроде как фата-моргана и все тому подобное, это как в Таганроге. С трех сторон море. Мощеные улочки, исчезающие в акациях. Совсем как в Одессе. А камень везли из Италии. Может быть, сам Гарибальди...

Морская романтика – первая муза. Портовые таверны и притоны, моряцкие песни. Через них я прошла воспитание чувств. И если вы помните, даже первый мой жених – моряк. Ведь к тете я приезжала летом.

Порт как всякий порт помогает выжить, когда нет родителей или они далеко: война, ссылки, лагеря, разводы. В послевоенные годы голод прокатился по всей Евразии. И по Европе тоже.

Фрагмент № 76

Эмалированные тазики, где бились большеголовые бурые склизкие и тупые бычки. Кусок шпагата со множеством крючков – вот и вся снасть. Бычки гирляндой повисали на шпагате, как сицилийские перцы, были они так тупы и носом, и характером, что почти никогда не срывались. Еще собирали с тетей мидии. Иног-

да целый мешок. От голода разбивали немного тут же камнем. И было это возбуждающе вкусно. Жирная чувственная скользкая плоть, как у устриц на Атлантическом океане. Их здесь мало кто ел. Мы не в Италии. Но голод брал свое. И мидии с мамалыгой стали отменной спасительной едой. Годы спустя тетя их варила, мариновала с луком и закатывала банки на зиму. Мидии становились ярко-желтыми. Я привозила их в Москву. Итальянцы в университетском общежитии веселели от удовольствия. И от водки тоже. Такого даже в Италии не попробовать. Она унесла с собой в свое итальянское небытие этот тайный рецепт.

В свое время мидий и устриц, добытых на Черном море, паковали в бочки со льдом, рассылая в Вену, Берлин и Санкт-Петербург. Черноморские мидии славились как внешним видом, так и отменным вкусом, и даже, говорят, превосходили французские. Некогда в Керчи даже работал ресторан «100 блюд из мидий».

Фрагмент № 77

У берегов Англии в 19 веке килька часто вылавливалась в такой массе, что шла на удобрение полей.

Кильку в Таганроге называют тюлькой.

Если у этой кильки-тюльки съедать только туловище с хвостом, то голова становится не только самостоятельной едой, но и отдельным товаром, который можно продать. Блюдечко с головами, если память не врет, пятнадцать рублей. Даже самые нищие и босяки могли себе это позволить.

Фрагмент № 78

Опять голос по радио:

Элвис Пресли был сыном Императрицы с Венеры И одного контрабандиста из Таганрога.

.....

Он оставил свой розовый Кадиллак на небе; Он прошел от Белого до Черного моря, Тряс плечами и пел: «О бэби, бэби, бэби!»

Кажется, Гребенщиков.

Проживали они, те самые нищие и босяки, в портовом районе Бугудония.

Что это значит, не спрашивайте. Что-то вроде Швамбрании Кассиля. Или одесской Пересыпи и Молдаванки, где пьют шумно и щедро, дерутся оживленно и обстоятельно, ругаются жгуче и темпераментно. Юг есть Юг. Именно он диктует правила истории.

Посмотрите, как становятся биндюжными северные города сегодня, от Милана до Урала. Юг пошел на Север. Бугудонцы отнюдь не считали смертным грехом украсть все, что плохо лежит. И даже лежит хорошо. Бугудония против, скажем, Молдаванки. Все как в южной классике: Монтекки против Капулетти. Есть с чего брать пример. Если синьоры дерутся, то почему же не драться простым парням, вроде тех, что создали Америку, пейзаж которой породил вестерн? Кино – новый иероглиф демократии. Демократия зиждется на массовой культуре. Каждой эпохе свои мифы.

Собачеевка – удаленная от моря часть города, где в справных домах за высокими заборами (как сегодня в Люберцах) текла жизнь солидная, внушительная. Но демократия весьма своеобразная царила долгое время на всей земле: все были одинаково, по-советски, нищими, одинаково страдали чувством страха. Вражда бугудонцев и собачеевцев была весьма голливудской. И это не мешало ей быть настоящей.

Фрагмент № 80

Природа нашего влечения к культурным стандартам – чисто элегическая, поскольку стандарты эти принадлежат прошлому цивилизации, которые идеологическая тирания сохраняет, так сказать, в холодильнике. Живая рыба пахнет всегда, мороженая – только когда ее жарят. Культура гибнет лишь для тех, кто не способен создавать ее, так же, как нравственность мертва для развратника. Это, кажется, говорил Бродский. По радио слышала.

Фрагмент № 81

Угостили коньяком. Тем, что пахнет клопами.

Рильке говорил где-то, что жизнь бурную, беспорядочную можно рассказать лишь отрывками, фрагментами.

Это я поняла и сама.

Каждый раз, когда просят писать о жизни, у меня получается краткая потешка. Если обо мне пишут другие, то получается изза несовпадения воображения некая потешка противоположного толка – сама по себе, а моя жизнь в ней отсутствует. Вроде Я = НеЯ, как говорил Новалис, считая это высшим положением всякой науки и искусства. Может быть, может быть...

Вот Коркия объявляет правило: не публикуй незавершенных фрагментов.

А собственно, почему? И вообще, правила следует нарушать. Впрочем, он так и делает.

И что такое незавершенный фрагмент? У Новалиса именно во фрагментах блестяще завершается каждая его попытка поэтических размышлений.

Едва ли не вся человеческая мудрость дошла до нас в виде незавершенных фрагментов доплатоновских философов от орфиков до атомистов.

Так родилась Европа.

Intermezzo II

Письмецо из Нью-Йорка от одесского друга.

Милая Эвелина:

Прочел Таганрог, хотя он и в работе. Нашел для себя интересные вещи, которые не знал из истории.

Фрагмент как стих – интересно. Иногда думаю, а где проходит передний край или фронт современной литературы, если таковой существует. За неимением ответа я буду считать, что это и есть Таганрог с его фрагментами.

Какое-то внешнее сходство с Мишелем Уэльбеком в смысле фрагментарности. У него в романе «Возможность Острова» (и-во Иностранка, Москва, 2007) фрагмент имеет имя, например Даниэль24.10. Ну что ж, надо не критиковать, а приспосабливаться. Правда, «Возможность Острова» вгоняет в депрессию, а Таганрог – нет. Обнимаю, Илья

Какая разница, даже если меня никто не прочтет?! Я пишу, чтобы отвлечься от жизни, а печатаю потому, что таковы правила игры. Если завтра мои письменья исчезнут, это причинит мне боль. И все-таки, я уверена, не ту пронзительную и безумную боль, которую кто-то может предположить, думая, будто в написанном – вся моя жизнь...

Подобную мысль Бродский уже где-то высказывал: «Человек по-настоящему занимается стихом, а не собственной жизнью. Если бы он выбрал жизнь, он бы не писал стихи, а занимался другими вещами. Потому что поэзия не обеспечивается жизнью, жизнь нельзя купить поэзией... Это антибиографический процесс».

Читайте фрагменты как стихи. Тогда все станет понятно.

Фрагмент № 84

Бежала по кругу От себя убегая В поисках себя

Милан

